

бастый подъём, выйдя на небольшое плато, зажатое с двух сторон скалами, я увидел такое большое овечье стадо, что из-за нехватки места животные были вынуждены, почти не передвигаясь, тщательно выедать между колючек до самых корней порыжелые от времени и зноя какие-то растения, больше похожие на камыш, чем на траву.

Стояло почти полное безветрие — и потому медный гулкий звон ботала на шее жоака был отчётливо слышен, и поднимаемая стадом пыль висела над плато оранжевым облаком, напоминающим сказочный мираж в знойной пустыне. Со стороны это выглядело так необычайно красиво, что я невольно остановился, чем привлёк к себе внимание двух пастухов с загорелыми, словно кирпичными, лицами, в чёрных безрукавках, надетых поверх светлых рубашек и в штанах, заправленных в сапоги с короткими голенищами. Но, поняв по моей одежде, что я, скорей всего, один из многих туристов, приезжающих летом со всего света на легендарный остров, они тотчас потеряли ко мне какой-либо интерес.

Когда я наконец-то с тяжело и часто бьющимся сердцем, прерывисто дыша, одолел крутой, невыносимо длинный подъём и взойшёл на сам перевал, солнце как раз своим ярко-золотым, переходящим в чисто малиновый, круговым, словно венценосным свечением, далеко-далеко над вытянувшимся в тёмную нитку низким горизонтом уже начало погружаться в тёмно-синюю, почти чёрную, морскую таинственную пучину. И я устремил свой пристальный взор на закат.

Чем дальше и внимательнее я вглядывался в уходящее золотонное светило, тем больше и больше меня, словно невидимым мощным магнитом, притягивало к нему...

И я вспоминал себя то сидящего на берегу якутской таёжной речки перед разведённым из сухого хвороста костром, то дома, перед раскрытой чугунной раскалённой до малинового цвета дверцей кирпичной печки, в топке которой с лёгким потрескиванием пылали листовничные поленья. В обоих случаях пламя, жадно пожирая древесные тела, было языкастым, словно весело пляшущим, напоминающим наших далеких предков в их древних, загадочных обрядовых танцах. Вспросительно подумалось: «Уж не потому ли всегда с трудом отрываешь взгляд от огня, что подспудно, на генном уровне, чувствуешь родовую связь с ним?».

При любом ответе результат был бы один и тот же, вдохновенно животворящий, а именно — душа, и в самом деле, при завораживающем взгляде на разгоревшееся пламя словно радостно высветлится глубоко — до донца! — и до самых краёв её, как огромную чашу, наполнит глубоко чувство вдохновенного покоя и умиротворения!

Так произошло и в этот раз... Более того, впервые за долгое время моя душа вместе с обретением равновесия исполнилась такой сильной жаждой высоты, что будь у меня за спиной мощные крылья, я бы мгновенно расправил их во всю ширь, взмахнул — и, как горный орёл с горящими, словно уголья, широко раскрытыми глазами, с трепетно бьющимся от восторга сердцем, что есть сил стремглав полетел в бездонное небо, словно там, среди горящих ярко серебряных звёзд, у меня произойдёт удивительная встреча — нет, не с Музой, а с самой Вечностью!..

С перевала я начал спускаться лишь тогда, когда солнце целиком скрылось в водяной пучине, почему-то по мере его погружения быстро становившейся всё спокойней и спокойней. Волны на безоглядном просторе уже не вздымались круто, как нахрапистые, гривастые кони, а стелились настолько гладко, что до самого окоёма море всё больше походило на огромных размеров витринное стекло. Синие сумерки словно только и ждали окончания заката — прямо на глазах ступились настолько, что уже в нескольких метрах ничего не было видно, лишь далеко внизу, у самого подножья горы,

ярко и весело, как праздничная ёлка, горели огни моего отеля, кстати, со вторым по величине в Европе частным зоопарком.

Осторожно, словно слепой, выверая каждый шаг, я ступал по ещё пышущим жаром каменным древним плитам, помнящим твёрдую поступь храбрых воинов царя Миноса, правившего Критом аж четыре тысячи лет тому назад, а память острым ощущением внутреннего тепла всё вызывала и вызывала из своей глубины и цветисто высвечивала передо мной образные детали солнечного заката.

И хотя я неотрывно, словно заговорённый, любовался им до самого конца, упрямое сожаление, что и в этот раз сполна не успел насладиться его необыкновенной красотой, может быть, лишь сравнимой с той, которая великолепно изображена Иваном Айвазовским в гениальной картине «Девятый вал», никак мою душу не покидало. Казалось, если можно было бы, то я вообще никогда бы не отрывал от этого огненного зрелища своего восхищённого взора...

Только зайдя в номер, включив верхний свет, я, выдохнув про себя: «А жизнь-то и действительно прекрасна, нет, даже восхитительна!..», — понял, что порядком устал и надо отдохнуть.

Приняв сначала горячий, потом холодный бодрящий душ, достав из небольшого холодильника, почему-то вмонтированного в платяной шкаф, бутылку газированной воды, с жадностью сделал несколько глотков и направился на балкон-террасу. Там поудобней лёг в гамак, к которому привык ещё в далёком детстве, когда, романтик в душе, мечтал о морских путешествиях, подставив лицо лёгкому, свежему бризу и блаженно закрыв глаза, расслабился всем телом.

Хотя море было всего в десяти метрах, шум волн, лениво накатывавших на берег с золотистым песком почти не был слышен, зато цикады в редкой кроне невысоких сосен с кривыми стволами, с шершавой, бугристой тёмной корой, трещали неумолчно, напористо. Но я был настолько физически утомлён и еще находился в прекрасном состоянии духа от встречи с закатом, что почти не обращал на них никакого внимания...

И когда казалось, я должен был бы умиротворенно задремать, вдруг почему-то, словно по велению свыше, вспомнил давнюю встречу с одной профессиональной ясновидящей. По её уверенному предсказанию выходило, что жить мне оставалось на этом свете пять лет... Я, может быть, как от надоедливой мухи, попытался бы отмахнуться от горьких мыслей прошлого, если бы многое другое уже не сбылось! И от этого ясного осознания подкатывавшую дрему вмиг как рукой сняло и тревожно-печально подумалось: «Господи, как же мой конец близок!».

Душу тотчас до острой, пронзительной боли стиснула, словно плоскогубцами, горькая жалость, нет, не к себе, а вообще к тому, что жизнь-то моя, оказывается, — оглянуться не успел, как, улы, почти пролетела! «Интересно, — стал пытать себя дальше, — а что бы я делал, как себя чувствовал, если бы уже завтра должен был умереть?»

Не соглашаясь с судьбой, и в тоже время понимая своё бессилие перед ней, забился бы всем телом в дикой истерике или, до христа стиснув зубы, сдвинув, как грозные тучи, к самой переноске брови, сжав так сильно кулаки, что ногти больно вонзились бы в ладони, лишь выдохнув: «Ох!..», стал мысленно стойко готовиться к неотвратимому уходу, призвав на помощь все духовные силы, всю стальную волю...».

Сразу отвечать не стал, ибо от той же ясновидящей узнал, какая болезнь должна навести меня в могилу. И по печальным примерам своих родственников и знакомых мог себе представить, что она, если, конечно, предсказание в своё время сбывается, станет скрытно, неслышно и незримо, как отправившаяся на охоту чёрная дикая кошка, долго подкрадываться ко мне, а когда резко проявится, то яростно и беспощадно примется терзать и терзать

моё ослабшее тело, моё пылающее сознание такими страшными, непереносимыми болями, что никакие врачи с самыми чудодейственными лекарствами уже не смогут оказать мне спасительную помощь.

«Значит, — стал дальше думать я, — в конце концов, буду доведён до такого психологически угнетённого состояния, которое вынудит лично молить Бога послать для меня скорейший конец... Но ведь это не что иное, как позорное проявление слабости! А вот и нет!». И чтобы убедиться в своём утверждении, ничего другого ни нашёл, как взять и вспомнить случай времени далёкой юности...

Однажды в разгар лета у меня, четырнадцатилетнего парнишки, так сильно разболелся зуб, что никакие средства, да же собственная моча, которой я, по совету одной поселковой знахарки, чтобы хоть немного ослабить мучения, полоскал рот, не помогли. От затянувшейся, ставшей чуть ли не хронической бессонницы голова трещала, будто я получил в знойный день прямой, можно сказать, нокаутующий солнечный удар, к истечению десятых суток даже начались неотвязные галлюцинации.

Чтобы хоть как-то сбросить их, как непосильный груз с плеч, я, словно лунатик, по ночам выходил из дома на берег Лены, по которой в любое время суток, если не вниз, то вверх по течению шло какое-нибудь судно...

Мне казалось, что оно своими ослепительно горящими, как новогодние праздничные гирлянды, ходовыми огнями, прожекторами, выхватывающими управляемым ярким светом из сизой густой мглы то гранитные скалы одного берега, то песчаные отмели другого, настолько захватит внимание, что я хоть на некоторое время отвлекусь... Однако, к моему великому огорчению, этого не происходило...

Вконец обнаглели к вечеру комары и мошкара, воспользовавшись тем, что мне было ну совсем не до них, собирались в серые роящиеся тучи и беспощадно с таким остервенением искусывали в кровь лицо, шею и кисти рук, что они к утру покрывались зудящими волдырями, горящими внутри, словно от крапивных ожогов! Душу всё больше охватывало отчаяние, ибо из последних сил переносимая зубная боль, как самый настоящий враг, объявила мне жестокую войну на уничтожение — и лишь усиливалась и усиливалась. Ну, хоть в самом деле на стенку лезь! Или, как чумной, остервенело бейся об неё будто ставшей чугунной головой! Оставалось, хотя я прекрасно знал, что в местной поликлинике уже несколько лет не было зубного врача, идти в неё, «родную», как говорится, на авось: глядишь, на месте медсестры и обернется ко мне милостью Божьей...

Исхудавший, с обострившимися скулами, с глубоко впавшими затравленными глазами, в которых, казалось, боль на весь свет кричит криком, я предстал перед ведущей поликлиникой, фельдшером Инной Степановной Воробьёвой, женщиной средних лет, дородной, с высокой, полной грудью, со строгим, словно вечно вопрошающим, тем не менее, милым лицом. Её чёрные волосы были аккуратно закручены в узел и заколоты на затылке. Сверху их венчал накрахмаленный, стерильной чистоты медицинский колпак. В карих больших глазах читалось участие и сострадание, ведь как-никак я учился с её рыжеволосой, глазастой, чернобровой дочерью Татьяной в одном классе. И Инна Степановна по моей руке, крепко прижатой к сильно опухшей щеке, сразу понял, зачем я к ней пожаловал, глубоко вздохнув, коротко спросила:

— Что, Ваня, зуб разболелся, хочешь его удалить?!

— Ага! — промычал я жалостливо, как запёртый в хлеве телёнок, и утвердительно кивнул головой с взлохмаченными и выгоревшими на солнце и без того светлыми, как сухая пшеничная стерня, волосами.

Однако, когда я напряжённо, мучительно волнуюсь, сел в стоматологическое

кресло, Инна Степановна, вдруг задала вопрос:

— А зуб болит сверху или внизу?

Ничего опасного для себя не подозревая, я с готовностью ответил:

— Вверху! И, кажется, корневой!

— Открой рот, посмотрю!

Я послушно выполнил просьбу. В кабинете на некоторое время повисла тревожная тишина, потом её нарушили, словно разорвали в мелкие клочья, слова фельдшерницы:

— Надо же, какая незадача: я, к сожалению, не знаю, как делать обезболивающий укол в верхнюю десну! Вот не знаю — и всё! А удалить зуб, тем более корневой, без наркоза не могу! Извини...

— Что значит, извини?! — чуть не вскричал я. Но тут до меня окончательно дошёл смысл услышанного, верней, вынесенного, как тяжкий приговор, и я как-то враз поник. Но только на несколько секунд! Потом, представив, что зубная боль, превратившая мою жизнь в земной ад, продолжится и дальше, я, решительно посмотрев в выжидающие глаза Инны Степановны, громко заявил: «Дёргайте без наркоза!» И потом, как она меня ни пугала новыми, ещё более страшными муками, я упрямо, как настоящий баран, уставившийся рогами в новые ворота, напористо стоял на своём до тех пор, пока она, наконец, не сдалась: «Ну ладно, посмотрим, какой ты, Ваня, храбрый». И крикнула кому-то за дверью: «Полина! Зайди в кабинет!». Через несколько секунд порог переступила высокая, с широкими, как у мужчин, плечами, длиннорукая, ещё сравнительно молодая женщина. Беглым взглядом окинув меня, обратилась к Инне Степановне:

— Вы меня звали?

— Да! — ответила та и продолжила: — Пока я буду нашему нежданному герою, представляешь, решившему без обезболивания зуб удалить, ты, уж будь добра, поддержи его сзади покрепче за голову!

— А смогу ли?! Ведь, извините, он, боюсь, даже не представляет себе, на что решился, и значит, поневоле будет вырываться!

— Слово даю — не буду! — вместо Инны Степановны ответил я.

И добровольная попытка началась! Фельдшернице удалось, вонзив глубоко в десну специальные щипцы, довольно уверенно ухватить ими большой зуб, но, то ли сил у неё не хватало, то ли корни очень глубоко и крепко сидели, только первая, как потом и вторая попытки оказались неудачными. Из десны, разорванной до самой челюсти, так сильно текла тёплая солёная кровь, что мне приходилось противно сглатывать её. Передохнув с минуту, — а может, и все десять, ибо время для меня как бы остановилось, — Инна Степановна тщательно промокнула несколько раз марлевыми салфетками рану и снова взялась за щипцы, от одного взгляда на которые душа боязливо сжалась. При каждом моём хриплом грудномestone доморощенный стоматолог умоляюще говорила: «Ну потерпи, милый! Совсем немного осталось!.. Потерпи!..». И я, хотя из глаз красным веером сыпались болевые искры, голова кружилась, судорожно из всех сил ухватившись за подлокотники кресла, терпел и терпел, причём очень долго, ибо Инна Степановна, порядком помучившись, так и не смогла вырвать большой зуб, а лишь сломала его у самых корней, удалять которые уже пришлось ей по частям при помощи специального зубила, молотка и пинцета.

«Что двигало мной тогда, — слабость или всё-таки сознательная смелость, подкреплённая железной волей?» — спросил я себя, когда горькие воспоминания о зубных страданиях схлынули. Припёртому к стенке своим же печальным опытом мне ничего не оставалось, как только признать: «Да, смелость, причём отчаянная!».

Скорей всего, именно с такой смелостью, которую верней всё же называть силой духа, бойцы, защищающие родное отечество, прекрасно сознавая, что первыми же пулями будут убиты, повинувшись святому порыву души, а не приказу, встают из окопов во весь рост и с криком «Ура!» бросаются навстречу вражескому свинцово-